

22. История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета: Справочно-биографическое издание / Под ред. проф. В.Д. Полканова и др. — Омск: Изд-во ОмГТУ, 1996. — С. 207.
23. Центр документации новейшей истории Томской области (ЦДНИТО). Ф. 607. Оп. 7 Д. 36. Л. 14—15.
24. ЦДНИИО. Ф. 3749. Оп. 1. Д. 73. Л. 136; Иркутский государственный лингвистический университет (исторический очерк). — Иркутск: Изд-во ИГЛУ, 1998. — С. 96—97.
25. Там же. Ф. 127. Оп. 113. Д. 100. Л. 150.
26. Там же. Ф. 3435. Оп. 1. Д. 71. Л. 33.
27. ГАЧО. Ф. П-5920. Оп. 1. Д. 53. Л. 57-58.
28. За науку (АГУ). — 1989. — 16 февр.
29. ЦДНИТО. Ф. 607. Оп. 31. Д. 1439. Л. 67-68.
30. ГАНО. Ф. П-671. Оп. 1. Д. 69. Л. 37.
31. Иркутский университет (ИГУ). — 1979. — 12 сент.
32. Центр документации новейшей истории Тюменской области (ЦДНИТюО). Ф. 124. Оп. 225. Д. 108. Л. 24.
33. Новосибирский университет: опыт интеграции образования и науки / Под ред. проф. И.А. Молетотова. — Новосибирск: Изд-во НГУ, 1991. — С. 166.

УДК 26 (47+57)

КОНЦЕПТ ТОТАЛИТАРИЗМА КАК ОБЪЯСНЯЮЩАЯ МОДЕЛЬ АНТИРЕЛИГИОЗНЫХ И АНТИЦЕРКОВНЫХ ПРАКТИК

Л.И. Сосковец

Томский политехнический университет
E-mail: regionoved@mail.ru

Анализируется содержание концепции тоталитаризма и обосновывается возможность ее применения для изучения и объяснения антирелигиозной и антицерковной политики советского государства.

Советско-партийный политический режим, просуществовавший в нашей стране более 70 лет, нанес значительный ущерб делу развития российского общества. Убедительнейшим доказательством этому служит его "религиозно-церковная" политика, главной целью которой было всемерное уничтожение религии как формы мировоззрения, церкви как религиозных институтов, духовенства и верующих как носителей религиозных взглядов.

При объяснении причин и сущности антирелигиозных практик, имевших место на протяжении всего советского периода, представляется возможным и необходимым опираться на концепцию тоталитаризма.

Судьба этой концепции и в мировом, и в отечественном научном сообществе претерпела сложную эволюцию, крайними проявлениями которой стали сначала всеобщая увлеченность ею, а потом почти полное пренебрежение. Само понятие тоталитаризм также прошло сложный путь развития, отмеченный чередой определений и сменой высказываний в пользу этого понятия или против него. Наиболее полный "разбор" судьбы понятия "тоталитаризм" в европейских научных и интеллектуальных кругах провели П. Аснер в работе "Насилие и мир" [1. С. 192—225] и М. Малиа [2].

Очевидно, что теория тоталитаризма в ее классической форме подвергается серьезной и основательной критике. Справедливо считается, что тоталитарная модель страдает некоторыми упрощениями, преувеличивает роль одних факторов и упускает другие, недооценивает динамику тоталитарного общества. На Западе уже в 1970-е гг. развернулась острая дискуссия (время от времени она вспыхива-

ла с новой силой неоднократно) между историками "тоталитарной школы" и "ревизионистами". Слабые места "тоталитаристов" представители "ревизионистской" школы видели в непонимании различий между сталинизмом и ленинизмом, недооценке специфики национал-социалистического и большевистского режимов, преувеличении всесильности и "тотальности" партийно-государственного аппарата и пассивности общества. Как высшее свое достижение "ревизионисты" оценивали идеи о том, что сталинизм был бы невозможен без поддержки его "снизу", со стороны социальных слоев и групп, заинтересованных в "системе". Общество, по их мнению, перестало играть роль пассивного "объекта" тоталитарного господства, а выступало в качестве "сотворца" сталинской диктатуры.

М. Ферро, например, отмечал в парадигме тоталитаризма гипертрофию политического, поскольку в ней не рассматривался момент социального укоренения и последующей поддержки режима широкими слоями населения. Вообще, французские представители "ревизионистской школы" считали, что не стоит демонизировать, как это происходит из тоталитарной парадигмы, советское государство как твердую зло. Оно в реальности пронизывалось противоречиями и консенсусами, определенными инновациями. Более того, они идут дальше и считают, что и террор не стоит рассматривать в качестве неотъемлемой характеристики режима, поскольку и в пространстве террора многие маленькие люди находили свою нишу и даже выигрывали от него [3].

Последний аргумент, на наш взгляд, таковым вообще являться не может. Конечно, тоталитарный

террор и насилие не имели целью уничтожить всех и вся. Безусловно, террор и репрессии были выгодны отдельным силам и отдельным людям, но от этого он становится еще омерзительнее.

Не возражая против всех замечаний в адрес тоталитарных концепций, неизменно хочется заметить: если какая-то объяснительная модель общества страдает от недостатков, это вовсе не значит, что такого общества, которое эта модель не в состоянии до конца объяснить, вовсе не существовало. Да, стремление к всеохватности, гиперэтатизм, надзор и контроль, манипулирование сознанием – это общеевропейская и общецивилизационная тенденция. Но ведь не везде она реализовалась с такой полнотой и такими ужасающими последствиями, как в СССР.

Кроме того, концепт тоталитаризма никогда в западной историографии не исключался как одна из важнейших объяснительных и описательных моделей. Так, например, французские русисты в 1990-е гг., как отмечает Н. Трубникова, наоборот возвратились к тоталитарной концептуализации в русле общего оживления интереса к политической истории [3. С. 483]. Другое дело, что в рамках этой концепции обнаруживаются новые интерпретации, новые подходы, имеет место уточнение и даже отказ от некоторых ранее устоявшихся оценок.

Велись и ведутся споры, сколько признаков и каких именно имеет тоталитаризм. Аргументом против применения понятия выступает ссылка на отсутствие в реальной исторической практике человечества и России воплощенной в жизнь полной модели тоталитарного сообщества и государства, поскольку каждое из причисляемых к ним в чем-то да не "дотянуло" до теоретических аналогов. Думается, что это все же не аргумент. Возможно, человечество и не познало "законченного" варианта тоталитаризма, описанного в определенных и строгих категориях, что и хорошо для него (человечества). Но от этого тоталитаризм не утрачивает своей сущности. Тем более, что большинство из понятий, которые используются при описании социальных явлений крупного масштаба, не имеют полных эмпирических аналогов (например, кто может сказать в какой из стран наиболее полно относительно к теоретическим представлениям воплотилась та же демократия?)

Очевидно, что в течение соответствующего времени оперирование концепцией тоталитаризма при изучении и осмыслении советского периода окрашивалось в яркие политико-идеологические тона. Для зарубежных "тоталитаристов" оно проистекало из явного антикоммунизма, подогреваемого временами "холодной войны". Отечественные обществоведы массовый интерес к концепту проявили в условиях крушения системы, и потому использование его тоже могло объясняться политической конъюнктурой. Теперь настала пора в более спокойной обстановке разобраться и с самой тоталитарной моделью и с ее парадигмальными установками, хотя, судя по последней литературе, посвященной советскому периоду отечественной истории, исследова-

тели предпочитают вообще не употреблять это понятие, заменяя его эвфемизмами. Такой категорический отказ от применения концепции тоталитаризма для понимания и выяснения сути советских практик, на наш взгляд, можно тоже обозначить как "новая конъюнктура". Действительно, в свете современной "моды на патриотизм", ложно понимаемый и как "объективная оценка" советского периода истории и сводимая, по сути, к старой формуле "с одной стороны ..., с другой стороны", использовать однозначно разоблачительные подходы концепта тоталитаризма, возможно, чревато разными последствиями для исследователя. По крайней мере, создается такое впечатление.

Мы убеждены, что концепция тоталитаризма при всех ее явных и мнимых недостатках вовсе не утратила своих эвристической и эпистемологической ценности. Она позволяет исследовать не только политическую, но и социальную, культурноисторическую и ментальную практики советского периода, а некоторые сюжеты отечественной истории XX в. логически можно объяснить только исходя из признания, что они осуществлялись в условиях тоталитарного режима.

Вызывает недоумение попытки поставить непреодолимые барьеры использовать приемы анализа тоталитарных практик в рамках социальной истории. Мы согласны с мнением И.В. Павловой, которая считает, что тоталитарный подход вовсе не является антиподом социальному, так как "представляет его спецификацию, поскольку исходит из социальности власти" [4. С. 20].

Ссылки отечественных историков на то, что концепция тоталитаризма не в состоянии объяснить такой феномен советской истории как массовая поддержка населением режима, не достаточно для нас убедительны. Ясно, что наличие механизмов тотального влияния на общество и людей, в том числе через системы воспитания, пропаганды, социальной мобилизации, какими владел и умело пользовался режим, не могли не обеспечивать ему такой поддержки, особенно когда все неподдерживающие были либо уничтожены, изгнаны, либо изолированы. Еще более сомнительны аргументы о наличии механизмов обратного воздействия общества на власть. Какая же это, говорят противники концепта, тоталитарная власть, если она вынуждена была считаться с некоторыми требованиями общества и поступать в соответствии с такими пожеланиями. При этом никто не в состоянии назвать примеры, свидетельствующие о том, что в советском обществе были какие-либо механизмы, институции и силы, которые бы могли реально влиять на принятие властных решений. Никто ведь не решится всерьез отнести к таковым собрания и митинги с массовым "одобрением" или так называемые суды общественности, на которых трудящиеся требовали наказать, выслать, запретить или расстрелять каких-либо очередных "отщепенцев"? В основном речь ведут о каких-то подсудных настроениях в обществе, с которыми, дес-

каты, власти были вынуждены в той или иной степени считаться. На наш взгляд, даже такие примеры свидетельствуют не о слабости и не тотальности режима, а скорее наоборот. Умение власти учитывать стереотипы массового сознания и использовать их в своих целях – это признак тотальной системы. Примером явной сущностной подмены формы общественного сознания при учете и воспроизводстве культурно-исторических стереотипов, на их основе и благодаря им является феноменальный опыт антирелигиозного воспитания, осуществленный за годы советской власти.

Содержание концепта "тоталитаризм" колеблется между узким пониманием Х. Арндт, которая трактовала его как беспрецедентное явление, определяемое главным образом идеологией и террором, и крайне широким определением (Э. Карр), превращающим тоталитаризм в опыт, старый как сам мир. По мысли Арндт, тоталитаризм обозначает исторические практики, имевшие место в нацистской Германии и Советском Союзе, при этом в центре ее внимания были лагеря, процессы, чистки, исключительное насилие против общества. Оппоненты Арндт из числа признающих и само явление тоталитаризма, и его насильственные практики, считают, что такая трактовка все-таки устарела. Как отмечает современный французский политолог Ф. Бенатон, устанавливая неразрывную связь между массовым террором и тоталитаризмом означает рассмотрение в качестве существенного то, что является лишь моментом тоталитарной динамики. Исходя из своей трактовки, Х. Арндт не видела тоталитаризма в постсталинской России, но, хотя последователи Сталина положили конец "кампаниям истребления человеческих существ" (В. Гроссман), режим от этого не изменил своей природы [5. С. 184]. Действительно, все остальные сущностные характеристики тоталитарной системы были налицо вплоть до ее крушения в 1990-е гг. Более того и насилие, преследование инакомыслия, моральный террор при приемниках Сталина имел место всегда, приобретая несколько завуалированную и опосредованную форму. История религиозных обществ в 1940–1960-е гг. служат прекрасной тому иллюстрацией, поскольку в отношении к ним советским государством всегда осуществлялась политика, которую М. Фуко объяснял в рамках теории социальной гигиены. Иначе говоря, верующие в СССР во все времена всегда были той силой, которая рассматривалась как "опасная", "заразная", потому подлежащая изоляции, "лечению" и "санации".

Заявленная тема крайне важна в понимании и уяснении такой стороны тоталитарной государственности как установление идейного и политического надзора за населением. Практика надзора сама по себе не является исключительной привилегией и особенностью только тоталитарного государства, но именно в нем она приняла самую масштабную форму. Известный американский русист П. Холквист специально подчеркивает, например, что методика политического надзора была разработана

еще в недрах царской России. Он же убежден, что она с определенной эффективностью применялась в большинстве стран, включая тех, которых относят к демократическим. В ней нет ничего выдающегося, поскольку надзор служил целям эффективного управления и носил в определенном смысле конструктивный характер. Но в Советском Союзе он (надзор) был направлен не просто на обеспечение национальной безопасности, а служил конструктивным аспектом перевоспитания [6. С. 7]. Надзор, в том числе и за сознанием, служил не только для эффектизации управления, средством обеспечения безопасности режиму, но и носил созидательный для него характер. Как специально подчеркивал М. Фуко, определяющей чертой некоторых политических режимов является стремление не просто править территориями, но управлять людьми. А для этого нужно изменить сознание и мировоззрение "подданных", в том числе внушив им властный контроль. Модель надзора над верующими, религиозными группами и активом была отлажена хорошо и, хотя давала сбои, в целом была достаточно эффективна для достижения поставленной системой цели.

Знание истории религиозных организаций, положения верующих в условиях советской государственности позволяет объяснить и понять еще один феномен тоталитарных практик, являвшихся их имманентной сущностью – это тотальный и всевременный террор. Всевременный именно для многих групп верующих. История советского общества переполнена неисчислимой чередой репрессий, геноцида и утрачений. Катоки разнообразного насилия неоднократно проходили по судьбам церквей, религиозных организаций, уничтожив или придавив многих из них. Почему оказались возможны столь масштабные насильственные акции, которые не только не встречали сколько-нибудь серьезного сопротивления, осуждения, но порою поддерживались так называемой общественностью. Понятно, что режим владел изощренными социотехническими инструментами насилия, но важен и другой аспект. Е. Зубкова, глубоко и всесторонне исследовавшая общественную атмосферу в стране в послевоенный период, приводит в одной из своих публикаций замечание известного предреволюционного психолога Л. Войтоловского. Он подчеркивал, что задача террора – "оглушить чувствительность врага, посеять в его рядах асоциальность, вычеркнуть из арсенала его политических средств способность повышено откликаться на явления общественной жизни" [7. С. 81]. А поскольку для тоталитарного режима априорно врагом может рассматриваться весь народ, то задача террора в данном случае была почти выполнена. Любая оппозиция у нас подавлялась не только на стадии действия, но и на уровне мысли, настроения, чувства. Для этого постоянно нагнеталась атмосфера страха, подозрительности, постоянно поддерживался "фон утрашения". Режим умело, когда это было нужно, создавал ситуацию массовой истерии и психоза, которые давили своей агрессив-

ностью. В итоге грань между откровенным террором и идеологическим его вариантом становилась едва различимой. Помимо страха, возникало жгучее чувство абсолютной бесперспективности какого-либо сопротивления. Кроме того, надо помнить, что даже при самых масштабных репрессиях, не говоря уже о периодах их затиханий, соблюдался принцип избирательности террора. Это обеспечивало формирование в массовом сознании идею "праведного гнева" или равнодушия к судьбам вновь избранных на роль "врагов", "вредителей" и т.п. В свете таких объяснений становится более понятным, например, поведение людей на так называемых "судах общественности", которые часто проводились против духовенства и верующих в 1950–1960-е гг.

Значение насилия в истории советского общества нельзя недооценивать, принижать и, тем более, отмахиваться от него. По мнению известного немецкого историка С. Плаггенборга, насилие принадлежит к важнейшему опыту индивидуума в советской стране и является частью опыта жизни в условиях диктатуры. Более того, он считает, что этот опыт более аутентичен, нежели экономические показатели или дискуссии членов Политбюро. Понятие насилия может связать в целостную картину политические и социально-ориентированные подходы к истории. Насилие справедливо отнесено немецким ученым к более широкой категории, чем террор, источник которого необходимо искать в целенаправленной государственной политике. Насилие является инструментом террора и определяется историческим и культурным контекстом. При этом важно, что насилие являлось частью правовой системы СССР и существовало на законных основаниях. Оно являлось инструментом дисциплинирования общества, в котором формировался "новый человек". Насилие деформировало власть, поглощая ее и проявлялось во всех ее манифестациях [8. С. 462]. Общеизвестно, что репрессивная политика затрагивала не только политических противников власти, но и целые группы общества, дифференцированные по разным социальным признакам (кулаки, буржуазные спецы). Весьма существенно, что отнесение к категории верующих автоматически обеспечивало человеку явную или латентную угрозу со стороны тоталитарного режима, причем эта угроза была всевременной, в отличие, например, от обозначенных выше категорий.

Понятно, что "напряжения" насилия в различные периоды было разным. Но латентно оно присутствовал в тоталитарной повседневности постоянно. Сама память о терроре негативным образом сказывалась на поведении людей, заставляя многих из них переходить в разряд "активно поддерживающих" режим. В таких условиях стойкость многих верующих, не отказавшихся от своего мировоззренческого выбора, просто поражает. Именно их поведение во многом не позволило тотальности государственного контроля реализоваться в абсолютной форме, но "прокатный вал сталинизма" (М. Фуко) религия, церковь и верующие на себе испытали сполна.

Итак, советские исторические практики, в том числе антирелигиозные, являются прекрасной иллюстрацией нового типа стремления государства к господству и контролю, хотя сами такие стремления присущи любому государству. Как считают специалисты, тоталитарное господство является более глубоким, нежели все предшествующие формы господства потому, что оно подкреплено идеологическими претензиями на создание нового типа человечества. По мысли Ф. Бенатона, тоталитаризм может быть определен как политический режим, в котором власть пытается изменить природу или дегуманизировать человека. Большинство ученых сходятся во мнении, что основой установления и существования тоталитарных систем стали механизмы массового сознания, обеспечившие тоталитарным режимам поразительную массовую поддержку. Одним из первых к объяснению этого феномена подошел Х. Ортега-и-Гассет с его теорией массового человека или "восстания масс".

К числу особенностей массового человека в эпоху индустриализма относится его чрезвычайная способность приспосабливаться к условиям существования и разрываться с основными предшествующими общественными традициями и ценностями. Вместе с тем, на поведение масс продолжают оказывать подспудное влияние архаичные механизмы общественного сознания, а именно древнейший тип сознания, определенный в свое время К. Леви-Стросом, как мифологическое. Известно, что мифологическое сознание подвержено влиянию эмоций, тяготеет к упрощенному и одновременно целостному восприятию мира, оперируя при этом не столько абстрактными обобщениями, сколько наглядно-чувственными ассоциациями. Именно поэтому оно легко воспринимает идеологические конструкции, базирующиеся на представлении о всеобщей борьбе Добра и Зла. Подобные бинарные противоречия вообще характерны для традиционных культур, российская здесь не составляет исключения. В таких культурах существует ограниченный набор устойчивых ценностей и антиценностей, враждебные силы персонифицируются в той или иной группе "врагов" народа или нации. Мифологический тип сознания конструирует свой особый мир, развивающийся по законам мифа и имеющий мало общего с миром реальности, причем это относится не только к настоящему, но и к прошлому и, тем более, к будущему.

Важную роль в мифологическом типе сознания играют стереотипы – упрощенные представления об окружающем мире, жесткие и устойчивые, имеющие яркую эмоциональную окраску, которые, однако, при всей жесткости имеют свойство быстро и легко менять свои знаки на обратные или просто уступать место противоположным стереотипам [9. С. 66]. Общеизвестно, что данный тип сознания способствует успешному распространению и усвоению религий и идеологических доктрин, а также то, что большевики сумели найти оклик в отмеченных особенностях массового сознания российского общества.

Как писала известная современная исследовательница советского общества Н.Б. Лебина, массовое сознание послереволюционных поколений советских людей "носившее полуфеодалный характер", оставалось по сути религиозным, готовым к восприятию новых догм, теперь уже социалистического толка. Именно как теологическое учение был воспринят марксизм, причем его примитивизация и неизбежная теологизация шли как официально, так и стихийно, на уровне массового сознания" [10. С. 17–18].

Очевидно, можно предположить, что официальная государственная идеология не случайно подвергала религию таким гонениям. Она видела в ней не только идеологического соперника, что само по себе делало религию объектом преследования власти, стремившейся к тотальному контролю, но и некоторую отгадку собственного содержания и сути.

Таким образом, использование концепта тоталитаризма при анализе советского общественного и идеологического феномена, позволяет всесторонне и глубже понять сущность советских политических практик, в том числе и антирелигиозных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аснер П. Насилие и мир. — СПб.: Всемирное слово", 1999. — 421 с.
2. Малиа М. Советская трагедия. История социализма в России. 1917–1991. — М.: РОССПЭН, 2002. — 584 с.
3. Трубникова Н. На закате теорий тоталитаризма: французская историография о России // Исторические исследования в России-II. Семь лет спустя / Под редакцией Г.А. Бордюгова. — М.: АИРО-XX, 2003. — С. 479–509.
4. Павлова И.В. Что это было? Современная российская историография об историческом смысле социальных преобразований 1930-х гг. // Культура и интеллигенция сибирской провинции в годы "великого перелома". — Новосибирск: Институт истории СО РАН, 2000. — С. 1–23.
5. Бенетон Ф. Введение в политическую науку. — М.: Весь мир, 2002. — 367 с.
6. Американская русистика: веки истории. — Самара: СГУ, 2001. — 376 с.
7. Зубкова Е. Общественная атмосфера после войны (1948–1952 гг.) // Свободная мысль. — 1992. — № 9. — С. 81–89.
8. Никонова О. Как чувствует себя "приговоренный к смерти" // Исторические исследования в России-II. Семь лет спустя / Под редакцией Г.А. Бордюгова. — М.: АИРО-XX, 2003. — С. 448–478.
9. Борисов Ю., Голубев А. Тоталитаризм и отечественная история // Свободная мысль. — 1992. — № 14. — С. 60–70.
10. Лебина Н.Б. Социально-политическое развитие рабочей молодежи в условиях становления тоталитарного режима в СССР (20–30-е гг.): Автореф. дис. ... докт. ист. наук. — СПб., 1994. — 39 с.

УДК 823+17

К ВОПРОСУ ФИЛОСОФИИ ПЕРЕВОДА ПРОЗАИЧЕСКОГО ТЕКСТА КАК СЕМИОТИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ

Н.А. Николаенко

Томский политехнический университет
E-mail: intra@tpu.ru; hester@rambler.ru

Рассматриваются отдельные вопросы философии перевода прозаического текста как семиотической проблемы на стыке русской и западной культур. Перевод художественного произведения представляет собой особую форму межлитературной рецепции, в которой степень верности перевода оригиналу может варьироваться под воздействием ряда внешних и внутренних факторов. Важное значение для успеха переводчика имеет понимание им единой временной и пространственной логики повествования, одновременно реализующейся на двух уровнях, реальном и иррациональном.

Перевод художественного произведения представляет собой особую форму межлитературной рецепции, в которой степень верности перевода оригиналу может варьироваться под воздействием ряда внешних и внутренних факторов, начиная от господствующих литературно-эстетических вкусов, до эстетического кредо самого переводчика и его личной литературной позиции [1. С. 499]. Следует принять во внимание тезис Г. Гачечеладзе об относительной свободе переводчика прозаического текста по сравнению с переводчиком поэзии, поставленного в жесткие рамки законов стихосложения, обусловленных принципами эквиритмии,

эквILINEАРИИ, системой рифм и строфикой поэтического произведения [2. С. 189]. Большой интерес представляет понятие "стилистического ключа" как возможности проникновения переводчика в суть произведения, возможности уловить и верно передать тонкие смысловые оттенки текста оригинала с учетом его семиотической насыщенности.

С.Б. Переслегин [3] отмечает с известной долей категоричности, что "требования аутентичности текстов и соответствия восприятия исключают друг друга и не могут быть выполнены одновременно". Предложенная им классификация переводов прозы на "классические, ориентированные на ав-